

Страсти по четырём девочкам

Мистерия

(фрагмент)

Песнь первая

Я приглашаю вас в свой Театр.

Есть лишний билетик? Миллион лишних билетиков! Для каждого желающего есть место в моем Театре. Но должен предупредить, что во время действия никому не удастся встать и уйти. Не получится! Мой Театр двинется за вами со всеми декорациями и героями, со всеми перипетиями и страстями. Театр вселится в каждого из вас. Станет вашей болью и тревогой. Такой это опасный Театр!

Мы говорим Театр – и перед нами возникает здание с колоннами, похожее на храм. Театр и есть храм. Недаром в вышине на треугольном фронтоне в бронзовой колеснице стоит бог. С его плеча плавно спадает лёгкая туника, на голове венки из веток лавра. В руке он держит шестиструнную кифару: выменял её на несколько коров у ловкого купца Гермеса. Говорят, он необыкновенно красив, этот бог, но с земли черты его лица неразличимы: ведь он, как подобает богу, вознесён очень высоко. Приходится верить на слово. Это Аполлон – бог красоты. А красота – теперь это знают все – спасёт мир.

Он стоит неподвижно и выжидающе смотрит вдаль, а запряженная в колесницу квадрига – четыре коня, вздыбленных над театральной площадью, нетерпеливо ожидает сигнала своего повелителя. Стоит ему сочно причмокнуть губами и как следует встряхнуть вожжи – но-о! – кони сорвутся с места и тяжёлые колеса загрохочут по крышам города. Э-ге-ге!..

Театр – не только божество, это ещё лукавство. Здесь можно дёрнуть старика за бороду, и борода окажется в вашей руке, а перед вами вместо почтенного старца – нагловатый молодой парень в джинсах. Старик же торопливо натянет на лысину парик и на ваших глазах превратится в молодого. Здесь, если надо, румяный побледнеет, бледный зарумянится. Грим! Жадный расщедрится, добродушный примет облик злодея. Роль!

В Театре все немного ненастоящее – декорации, немного временные роли. И вечное – правда.

– Правда – душа Театра. Но какая это трудная, сложная правда. И какая великая. Ведь сама наша земля – огромный Театр, а все мы как бы артисты, и у каждого своя роль в Театре жизни. Ведь не случайно великий Шекспир назвал свой театр – «Глобус».

А может быть, каждый из нас – сам по себе Театр? Наша память спектакль. Действующие лица и исполнители – те, кого мы любим, кто живёт рядом с нами, без кого мы не можем обойтись, но и те, кто отравляет нам жизнь. И те, кого нам так не хватает, но о них мы узнали слишком поздно, они жили в другое время, и встретиться с ними можно только в Театре. В этом Театре нет колонн, нет бронзового бога в колеснице, который всё ещё надеется спасти мир. Мой Театр всегда со мной и с вами.

Я приглашаю вас в свой Театр. Слышите – первый звонок.

В хмурый день на снежном насте сквера лежал сухой, сморщенный листок. Сперва он показался мне маленьким замёрзшим мышонок, о котором когда-то в детстве мне пела мама:

Отвечает ей мышонок:

– Голосок твой слишком тонок.

Лучше, мама, не пищи,

Ты мне няньку поищи!

Вот и нашлась нянька. Навсегда укачала глупого мышонка.

Но потом сухой листок на снегу неожиданно напомнил мне самого себя, только молодого. Листок такой же серый, как моя солдатская шинель. Его черенок не мышинный хвостик, а штык моей винтовки. А такой маленький я потому, что время – уменьшительное стекло. Чем больше пройдёт времени, тем меньше размером становятся его действующие лица и исполнители.

Театр, наперекор времени, малое превращает в большое. Иногда в великое.

Так из опавшего листка я становлюсь действующим лицом театра военных действий. Я лежу в подмосковном поле, в снегу. 1941 год. Фашисты подошли к Москве. Это они прижали меня к земле, вдавили в снег. Я большой, тяжёлый, от холода неповоротливый. Но с птичьего полёта, вернее, с полёта «мессершмитта», я выгляжу занесённым ветром сухим листком. И для пролетающего надо мной фашистского лётчика я значу не более, чем опавший листок. Но если я подниму голову, загремит пулемёт. И тогда...

В самые трудные минуты, когда казалось, всё кончено или кончится в следующее мгновение и нет уже зацепки за жизнь, я вспоминал о сложенной вчетверо страничке из тетрадки, которая лежала в левом кармашке моей гимнастёрки. Это было мамино письмо. Я знал его наизусть и в минуты отчаяния мысленно как бы перечитывал. И в моей памяти – в моём фронтовом Театре – возникали самые бесценные декорации и сцены: я видел нашу ленинградскую комнату с большой кафельной печью. Печь и дрова потрескивали, и на пол, как выстреленные, падали оранжевые угольки. Мама наклонялась и быстро, чтобы не обжечь пальцы, подхватывала уголёк и бросала его обратно в печь...

На ледяном ветру я видел маму у горячей печки. И это видение согревало меня. Родное тепло оказывалось сильнее ледяного ветра.

В последнем письме мама подробно рассказывала о ёлке. Оказывается, в шкафу случайно нашлись ёлочные свечи. Короткие разноцветные, похожие на отточенные карандашики. На ёлке они горели, вздрагивая, и по комнате разливался ни с чем не сравнимый аромат стеарина и хвои. В комнате было темно, и только весёлые блуждающие огоньки замирали и разгорались, и на тёмных ветвях тускло мерцали золочёные грецкие орехи.

Я лежал на снегу в тяжёлой каске, в шерстяном, опущенном на лицо, как забрало, подшлемнике, в шинели, затвердевшей от мороза, а осколки снарядов плюхались в снег – большие, рваные куски металла. Вот один упал совсем рядом... Гори, гори, ёлка! Мерцайте, позолоченные орешки! Хорошо, что где-то около, мамы есть островок мира, где все по-прежнему. Тепло и спокойно. И мама в безопасном месте. И единственная её тревога – это я.

Вот какой спектакль разыгрывался в моём сознании в жёстких снегах военного Подмосковья – его подарила мне мама. Именно спектакль, легенда, сочиненная мамой в ледяном Ленинграде, в доме, где стёкла были выбиты взрывной волной, а печка была мертва и белела в углу, как наметённый вьюгой, сугроб. Какая там ёлка, какие свечи! Это письмо мама писала, умирая от голода. Она не просто голодала. В неё стреляли голодом. Это был смертельный голод.

А я поверил героическому материнскому Театру, был слишком молод, не замечал, что буквы кривые, строки неровные, не догадался, что их выводила рука, лишённая сил, для которой перо было тяжёлым, как топор.

Я верил, и в ответ на это письмо писал свои первые военные стихи:

Между стройных сосен корабельных,

По полям в пургу и снегопад

Две холодных рельсы параллельных

Убегают прямо в Ленинград.

Здесь давно колёса не гремели,

Над путями не клубился дым.

Рельсы поржавели, потускнели

И покрылись инеем седым.

Но я верю, пробегут недели,

Рельсы снова оживут тогда.

С шумом, с громом через все метели

Побегут на север поезда.

Ржавчина исчезнет, стает иней.

Ближние леса заговорят.

И меня две рельсы тёмно-синих

Возвратят обратно в Ленинград.

Мои стихи уже не застали маму. Она умерла в блокадном Ленинграде.

Таким был мой фронтовой Театр. Такой была эта театральная правда.

Боже мой!

Сморщенный прошлогодний листок по-прежнему лежал на жёстком снегу в городском сквере, но уже не напоминал мне солдата с высоты птичьего полёта. Он скорее походил на ребёнка – блокадную девочку, у которой не хватило сил, и она упала на снег. И никого не оказалось рядом, чтобы помочь ей подняться. Но сегодня рядом был я. И я нагнулся к листку, опустил на колени и стал дыханием отогревать его. Листок вздрогнул, шелохнулся, чуть-чуть зашуршал. И в этом шорохе мне послышалось простуженное, хриплое дыхание. И я позвал:

– Таня... Таня...

Каждый человек – главное действующее лицо в своём Театре.

Действующее лицо, но не герой!

Герой – это тот, кем восхищаешься, к кому тянешься, за кем хотя бы в мечтах хочешь следовать, идти. Не будешь же восхищаться самим собой, идти за самим собой! Смешно.

Сухой листок на снегу обернулся первой героиней мистерики, которую предстояло разыграть моему Театру, – блокадной девочкой Таней Савичевой. Я был готов вступить на сцену и открыть занавес, но инстинктивно почувствовал, что мне одному не справиться с этой задачей. Так рядом со мной появились два действующих лица. Вернее, это были не лица, а маски. Одна – с низко опущенными уголками скорбного рта, другая – с улыбкой до ушей. Они вышли на сцену и поклонились почтенной публике.

И взял художник в руки

Гусиное перо

И, вытирая слёзы,

Назвал меня Пьеро.

Так представилась первая маска. И словно пародируя первую, чуть ёрничая, в действие вступила вторая маска:

А я стоял под аркой
Разряжен, как павлин.
Поэт сказал: «Не каркай,
Ты будешь Арлекин».

Некоторое время маски с интересом разглядывали друг друга. Так осваиваются два незнакомых пассажира, очутившись в одном купе. Но они были масками, и им трудно было понять правила игры – ведь в масках всегда есть что-то примитивное, однозначное, как белое и чёрное, никаких оттенков.

Моим добровольным помощникам в Театре все было внове. И они восприняли его, как игру, – заговорили, перебивая друг друга, и каждый старался забежать вперёд:

– Мы верных два дружка.
– Я – грустный.
– Я – весёлый.
– Артисты драмкружка.
– Освистанные школой.
– Я плачу.
– Я смеюсь, я весел.
– Я скучаю.
– Я на свиданье мчусь.
– А я дитя качаю.

Что дальше? Они вопросительно смотрели на меня, словно я был суфлёром и должен был подсказать им текст. Я молчал: мне самому было любопытно, как поведут себя мои новые друзья дальше. Они решили, что самое время настроиться на философский лад.

– Говорят, противоположности сходятся. Это про нас. Мы совершенно не похожи, но оба необходимы для жизни. Без любого из нас жизнь станет неполноценной, половинчатой – так начал Арлекин.

– Мы такие разные, что иногда не понимаем друг друга, – поддержал его Пьеро, – но случается, что печальный заливается смехом...

– А весельчак – слезами, – подхватил Арлекин, – мы как бы меняемся ролями. Только маски остаются прежними – печальная и весёлая.

– А когда мы меняемся ролями, – перебил Арлекина Пьеро, – происходит неразбериха: надо смеяться, а на глаза наворачиваются слёзы. Смешно, правда?..

По ходу мистерии в конце диалога в руках у Арлекина появилась тетрадка. Ничем не примечательная тетрадка в косую линеечку. Мои спутники ещё не знали, что в Театре ничего не бывает случайным, даже сухой опавший листок... Арлекин вертел в руках тетрадку, не зная, что с ней делать. Не придавал ей значения:

Обычная тетрадка
В линеечку косую.
Одни примеры пишут,
А я слона рисую.
А я слона рисую
И девочку босую,
И девочку босую
В линеечку косую.

Он произнёс свой монолог, пританцовывая, делая ударение на рифмы «Босую – косую – рисую». Пьеро же слушал его и пожимал плечами: все печальные люди – скептики.

Обычная страничка,
Где кляксы, как черничка.
Глаголы здесь чудили,
Задачки с рельс сходили...

Пьеро театрально вздохнул и уронил голову на грудь.

Неугомонный выдумщик и весельчак Арлекин вырвал из школьной тетрадки страничку, ту самую, где «кляксы, как черничка», и где «задачки с рельс сходили», проворно превратил его в бумажного журавлика и запустил незнаемо куда.

Бумажный журавлик,
Бумажный журавлик,
По небу плыви,
Как бесстрашный кораблик. Эг-ге!..

Артисты входили в роль. Они шутили, пританцовывали, слова вылетали из них легко и весело, как разноцветные шарики. Так они понимали мой Театр.

Но они не знали ещё о сухом листке на снегу и не подразумевали, что в руках у них не обычная школьная тетрадь, а завязка мистерии. И что в следующее мгновение, когда они перевернут страницу, всё резко изменится.

Так оно и случилось. Пьеро взял в руки тетрадь и неожиданно прочёл:

«Женя умерла 29 декабря в 12.30 часов утра 1941 года».

Что это значит? Может быть, эти слова попали сюда случайно совсем из другого спектакля? Они повернулись ко мне в надежде, что я поправлю ошибку. Но я молчал, потому что никакой ошибки не было. Возникла мучительная пауза. «Женя умерла...» Эти слова не отзвучали, не пролетели мимо, а продолжали существовать, дрожали в воздухе...

И тогда мои спутники не выдержали, в первый раз забыли о своих масках, и на меня обрушились горячие вопросы:

- Кто эта Женя, которая умерла?
- Почему она умерла?
- Где это произошло?
- Что вообще происходило в мире 29 декабря 1941 года?
- Чья рука вывела эти страшные слова: «Женя умерла»?

Маски вопросительно смотрели на меня, и я обратил внимание, что грань между «я – грустный» и «я – весёлый» нарушилась и в них появилось что-то схожее. Они ждали от меня ответа на свои недоуменные вопросы.

Я ответил одним словом, которое всю жизнь рядом со мной, а я не могу к нему привыкнуть:

– Блокада!
Песнь вторая

У каждого времени есть свои горячие слова. Но время проходит, и слова отступают в тень, забываются. Уступают место новым, более важным для нового времени.

Но слово «блокада» во все времена живёт во мне. Оно не ослабевает, напротив, набирается сил, становится страшнее. От него веет смертью моих близких. Я был бы рад забыть его – не забывается, кровоточит.

А для сегодняшних молодых людей «блокада» – слово из языка, который они не проходили. Или так проходили, что прошли мимо. Не запомнили.

Но Пьеро и Арлекин уже усвоили, что в моём Театре, как и в каждом театре, ничего не бывает случайным. И если прозвучало слово «блокада», то нельзя пропустить его мимо ушей, надо докопаться до смысла.

Мои спутники стали рассуждать, строить догадки:

– Красивое слово «блокада».

Наверно, слетело с плаката?

– А может быть, в мире есть остров «Блокада»?

– А может быть, это название фрегата?

– А может, тайфун с катастрофой кровавой?

– А может быть, имя девчонки кудрявой?..

Я понял, что на сцену моего Театра должен выйти персонаж, который лучше других объяснит сегодняшним людям, что такое «блокада». Передо мной в сознании прошла целая галерея блокадных образов: старушек с пергаментными лицами, парней, заросших щетиной и сгорбленных, как старцы, женщин с жертвенностью во взгляде, стариков, полуживых-полумёртвых. Они прошли перед моими глазами, и каждый произносил посиневшими губами: «Я и есть блокада». Но я выбрал другой образ, который был ближе мне.

Я вспомнил о девчонках, вчерашних школьницах, которые стали бойцами, солдатами и вместе с нами, мужчинами, очутились около зенитных орудий, чтобы защитить родной город от воздушных налетов. Их нежные лица ещё не успели огрубеть от солдатской жизни. Девочки-солдаты ещё не совсем отвыкли от дома и во сне жаловались маме на трудную жизнь. А потом шли на пост. Недоедали, недосыпали. Бедные мои!

Это им я посвятил стихи:

Пройдут года, и вот однажды вечером

Вдруг спросит дочка, перестав играть:

«А верно, мама, ты была ефрейтором

И не боялась из ружья стрелять?»

Ты дочку приласкаешь и пригреешь,

Посадишь на колени и тогда

Расскажешь ей про нашу батарею,

Про всех про нас, про трудные года.

Расскажешь ей, как мёрзла на разведке,

Как исправляла линию в метель.

Покажешь ей со звёздочкой беретку

И старую, потёртую шинель.

А дочка тихой и серьёзной станет,

Потёртые погоны беребя,

И вдруг пилотку на себя натянет,

Чтоб быть хоть чуть похожей на тебя.

Теперь эти девочки даже не мамы, а бабушки.

Но я призвал одну из своих боевых подруг в свой Театр, чтобы мои спутники из первых уст узнали, что означает страшное слово «блокада».

Девушка-зенитчица появилась в нашей мистерии в серебристой от мороза шинели, в каске с ремешком под подбородком. Из обрамленного инеем «окошка» под-

шлемника, щурясь от света, смотрели воспалённые глаза. Она, видимо, только что сменилась с поста, и льдинки на ресницах не успели растаять.

Блокада! Блокада! Блокада!
Погасли огни Ленинграда.
В снегу от разрывов воронки
Чернеют, как стаи вороньи.
Блокада. Блокада. Блокада.
У Нарвских ворот баррикада.
На фронт уходящие танки.
И с гробиком детские санки.
Блокада. Блокада. Блокада.
И голод, и ноги, как вата.
И смерть каждый день на пороге.
А в школе сегодня уроки.
Уроки с тетрадками, с мелом,
Уроки под страшным обстрелом.
Уроки, как вызов блокаде.
И выстрел... и кровь на тетради.

И тут девушка-зенитчица заторопилась: может быть, до нее долетел сигнал боевой тревоги. Она натянула шерстяной подшлемник, с которого успел стаять иней. Водрузила на маленькую голову тяжёлую, гладкую, как полушарие, каску, поправила на онемевшем плече ремень винтовки и пошла на свою зенитную батарею, вмёрзшую в землю сквера у Исаакиевского собора.

Ничего не изменилось, ничего не произошло с Пьеро и Арлекином, на то они и маски, а не живые лица. Одна маска продолжала улыбаться, другая по-прежнему хмурилась. Но я почувствовал, что внутри, под личинами масок, уже шла напряжённая работа: страшный мир, о существовании которого они даже не догадывались, приблизился, коснулся их. И то, что всегда казалось им далёкой историей, не имеющей к ним отношения, вдруг стало жесткой реальностью.

«И выстрел... и кровь на тетради».

Маски не изменились, однако в стихах, которые так весело, так озорно звучали в начале спектакля, произошли странные сдвиги. И вместо весёлых разноцветных шаров возникли тяжёлые, чёрные:

Тетрадка, тетрадка
В линеечку косую.
Одни примеры пишут,
А я войну рисую.
И смерть идет с косою
В линеечку косую.

Страница перевернулась. Знакомый простуженный голос как бы в подтверждение стихов произнёс: «Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года».

Маски замерли. Окаменели.

В мой Театр не приходят художники и на огромных холстах не рисуют дома, скверы, улицы, храмы, вокзалы, хибары. Плотники не стучат молотками, не строят декорации. В моём театре – всё настоящее, натуральное.

В Ленинграде на Васильевском острове всегда ветрено. Сечёт дождь. Сыплет мокрый снег. Случаются наводнения. И плывет этот остров, как корабль: слева – Нева, справа – Невка, впереди – открытое море.

Как всё это воспроизвести на сцене моего Театра?

Нет, мне не пришлось рисовать на холсте Вторую Линию Васильевского острова с невысокими, выкрашенными охрой домами, в одном из которых под номером «13» жила Таня Савичева. И не потребовалась сочная киноварь, чтобы изобразить отблеск пожара в четырёх окнах первого этажа – в Таниных окнах. Дом в своём естестве возник на сцене моего Театра. Обшарпанный – такого и не нарисуешь, с мёртвыми трубами временных печурок-«буржук», как стволы орудий торчащими из окон. Рядом булочная, в подвале керосиновая лавка. Почему же не пахнет ни хлебом, ни керосином? Ни того, ни другого нет. Война. Блокада.

Скрипнула дверь – мы вошли в подъезд. Из глубины лестничной клетки в лицо пахнуло склепным холодом. Одна ступенька, вторая, третья... До первого этажа не так уж много ступенек. Но бабушка, когда была жива, поднималась очень медленно – для неё это была целая история – подняться к себе на первый этаж. Мы же взлетели на второй этаж стремительно. И перед нами возникла Танина комната:

Комната. Окно зачёркнуто крест-накрест,

Чтоб стекло от взрыва уберечь.

Холодно. Как будто двери настезь.

Мёртвая, нетопленая печь.

Память собирает всё в копилку:

Инеем покрыто полстены.

Превратилась в тусклую коптилку

Электрификация страны.

Когда мы вошли в комнату, Таня даже не оглянулась. Она в больших валенках с чужой ноги. Длинный ватник до колен и платок, завязанный за спиной крест-накрест. Бледное лицо. Обветренные губы, руки в варежках. А движения медленные, словно каждое стоит невероятных усилий. Ах, как она напоминала тот серый опавший листок на снегу! И только глаза, смотрящие из-под платка, – живые. Когда Таня заговорила, стало понятно, кому принадлежит хрипловатый, простуженный голос.

Коптилка – мой фонарик.

Лица не различишь.

Да здоровствует сухарик!

Но он мне снится лишь.

Ни маковой росинки.

Зато дают бурду.

И плавают крупинки

В тарелке, как в пруду.

Таня безразлично посмотрела на нас, словно не верила в нашу реальность. И сказала, неизвестно к кому обращаясь:

– А куропатка в день съедает всего 22 грамма. Счастливая.

Мы сперва не поняли, в чём счастье куропатки. И причём здесь вообще куропатка. А Таня подошла к столу и склонилась над тетрадкой, над той самой тетрадкой, которая в начале спектакля появилась у моих помощников.

Мои спутники, Пьеро и Арлекин, с острым любопытством рассматривали блокадную комнату: никогда не видели бумажных крестов на окнах, печурок посреди

комнаты, покрытых инеем стен, – но ещё не почувствовали всей трагедии города, а девочка, скрипящая перышком, не вызывала у них особых чувств. Подумаешь – пишет. Но стоя за её плечом, они наблюдали,

как пишет, замерзая,

дрожащая рука,

страдающая и дерзая,

страничку дневника.

Строка... ещё строка...

Мистерия набирала силы.

В печном дымоходе, пересекающем всю комнату, и сквозь окно, выходящее на улицу, загудел ветер, словно заиграл на трубе. И печь на мгновение ожила:

Я сказала ленинградке:

«Ты сожги свои тетрадки

И погрейся у огня».

Не послушалась меня.

Всё простуженно сопела,

И перо её скрипело.

Сотрясали взрывы дворик.

Кто-то встретил смерть свою.

Пишет маленький историк.

Пишет летопись свою.

Таня писала свою летопись, от всего отрешилась и писала:

«Лёка умер 17 марта в 5 часов утра 1942 года». Потом положила перо – тяжёлое! – и вслух подумала: «Очень трудно писать слово умер. У Лёки был свой угол, отгороженный шкафом. Он там чертил. Зарабатывал деньги черчением. Он был тихий и близорукий, ходил в очках. И всё скрипел своим перышком, рейсфедер оно называется... Лёка умер... Умер Лёка...»

Она уронила голову и долго не могла её поднять. И всё, что происходило дальше, было как во сне. Этот сон снился моим спутникам. Они были и как бы не были в этом страшном блокадном мире.

Мне вдруг показалось, что я попал к себе домой, что всё кругом хорошо знакомо. Белая изразцовая печь, книжный шкаф, кушетка с тремя подушками и с пружиной, которая поёт, когда садишься. А если подойти к окну, то можно увидеть нашу улицу... Нет, нельзя ничего увидеть – иней толщиной в палец покрыл стёкла. Мне показалось, что это не девочка склонилась над тетрадкой, а мама пишет мне письмо о печке со стреляющими угольками, о ёлке с золочёными орешками. А когда в пузырьке замерзали чернила, мама отогревала их своим дыханием. Теперь я понял, как трудно писать голодному о сытости, окоченевшему о тепле.

Здесь была мамина блокада, мамин мученический крест, терновый венок её жизни.

О, если бы я мог опустить занавес, прервать этот страшный спектакль. Но действие продолжалось – от своего Театра никуда не деться, как нельзя уйти от самого себя.

Мистерия продолжалась.

Девочка слаба. Подняться силится.

Падает. Поднимется едва ли.

Расскажи нам, старая чернильница,

Как в тебе чернила застывали.
Как о чёрный лёд стучало пёрышко,
Пёрышко – голодный клюв воробышка.
Расскажи, как можешь, печка бывшая,
Как ты в дни блокады горевала.
Как стояла, про огонь забывшая,
И жильё уже не согревала.
Но молчит чернильница.
Умерла учительница.

Печь к теплу дорогу не покажет.
Только хлеб живой. Он всё расскажет.

Мистерия не только рассказывает – она оживляет неодушевлённое. Впрочем, разве можно хлеб причислить к неодушевлённым предметам. Тем более блокадный хлеб, который был единственным источником жизни, на который молились.

И хлеб стал действующим лицом мистерии.

Я – хлеб. У меня есть душа.
Я – хлеб. И мне больно бывает.
С берёзы листва опадает, шурша,
А хлеб каждый день оживает.
Я слышу осколков удушливый свист.

Я – ломтик, прозрачен и тонок.
И держит меня на ладони, как лист,
Голодный блокадный ребёнок.

Я – хлеб. У меня есть душа.
Хотя я тонюсенький ломтик,
Ко мне приближается еле дыша
Голодный ребяческий ротик.
Большие глаза. Цвет лица восковой.

С трудом поднимает ручонку.
Я – хлеб. И пока я живой,
Не дам умереть я ребёнку!
Я – хлеб. Я – живой. Не горю я в огне.

Я ваш, я ржаной, самый близкий.
И тянутся детские губы ко мне,
Как будто к груди материнской.
Я – хлеб.

У меня есть душа.
Я хлеб...

Хлеб не ушел, не покинул дом, только превратился в тоненький ломтик, прозрачный, как кленовый листок. Опять опавший листок! Ломтик лежал на Таниной ладони. Не просто хлеб – блокадный паёк. И Таня начала отщипывать и есть, как никто из вас, слава Богу, никогда не ел хлеб.

Она повернулась к нам и преподала жестокий блокадный урок.

– Вы знаете, как едят блокадный хлеб? Нет? Я раньше тоже не знала... Я научу вас. Надо положить пайку на ладонь и отломить крохотный кусочек. И долго-долго жевать его, глядя на оставшийся хлеб. И снова отломить. И снова жевать. Надо как можно дольше есть этот крохотный кусочек. А когда весь хлеб будет съеден, поду-

печками пальцев соберите на середину ладони крошки и прильните к ним губами, словно хотите поцеловать их... Чтобы ни одна крошечка не пропала... ни одна крошечка.

Таня замерла, разглядывая пустую ладошку, словно пытливо проверяла: не осталось ли крошечки. А потом, как бы не своим, неживым голосом прочла новую строку из страшного дневника: «Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года... Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня 1942 года...»

Во второй фразе она пропустила слово «умер». Видимо, это слово было ей не под силу. А потом она запела, как в мирное время, только потише. Она вообще любила петь, потому что когда поёшь, перестаёшь заикаться, а Таня заикалась...

Жура-жура-журавель,
Журавель-журавлик.
Растопил снега апрель,
И плывёт кораблик.
Поднят нос у корабля,
Паруса в порядке.
А у журы-журавля
Крылья из тетрадки.
Затерялся он во мгле,
Далеко от школы,
Вместо перьев на крыле
Вечные глаголы.

За окном завывали сирены. Таня замолкла. А мои спутники не сразу поняли, в чём дело.

– «Скорая помощь», – вздохнул Пьеро.

– Может быть, пожарные проехали? – заметил Арлекин.

Но «пожарные проехали», а сирена продолжала надсадно звучать рядом.

И тут загрохотало, зазвенели стёкла. Это ударили зенитные орудия.

– Может быть, салют? – дрожащим голосом произнёс Пьеро, и я понял, что мальчик сам себя пытается обмануть, вернее, ввести в заблуждение свой страх.

Раздался оглушительный треск. Стены вздрогнули, дом трянуло. Люстра закачалась, как при землетрясении. По потолку, как молния, пробежала кривая трещина. Упала штукатурка. Мои спутники забились в угол. Замерли.

– Штукатурка не страшно, – предупредила Таня, – когда летят осколки стекла – опасней.

Она была опытней двух моих спутников.

– Я думаю, бомба попала в Неву. Дома не пострадали, иначе был бы пожар.

Всё происходящее действовало на нас по-разному. Таня держалась спокойно: человек ко всему привыкает, даже к бомбёжке. Пьеро и Арлекин молча жались друг к другу – поняли, наконец, что происходит, – и постарались оставаться артистами в спектакле. Я же был напряжён до предела. Я знал, что значит грохот стрельбы и чем может обернуться взрыв бомбы. Всё это я усвоил давно, но успел позабыть. Однако есть такие страницы в памяти, которые оживают мгновенно и отдаются болью. У меня похолодело на сердце. И когда грохот утих, я сам себе прошептал: «Кажется, пронесло».

Таня посмотрела на Арлекина и в первый раз улыбнулась:

– Ты откуда такой смешной? Ты всегда смеёшься? Даже когда больно, улыбаешься?

– Я – Арлекин, – буркнул мой дружок. – А если тебе не нравится улыбаться, то посмотри на моего друга.

Таня тут же перевела взгляд на Пьеро. И снова улыбнулась.

– А ты похож на нашего учителя рисования. Он тоже всегда мрачный. Никто не видел его улыбающимся. – А потом Таня перестала улыбаться и спросила: – Ты голодный? Голодные тоже мрачные.

Пьеро покачал головой и отвернулся.

Снова послышался грохот. Словно над городом в своей колеснице с квадригой коней мчался Аполлон. Красота спешила спасать мир. Не поздно ли?

Есть такой театральный закон: если в первом акте на сцене появляется ружьё, позднее оно обязательно должно выстрелить. И если в начале спектакля Арлекин вырвал лист из тетради, сложил бумажного журавлика и взмахом руки запустил его, то журавлик обязательно появится. Самым неожиданным образом, при самых странных обстоятельствах.

Так в ледяной, покрытой инеем блокадной комнате появился бумажный журавлик. Он сделал круг и шурша, как опавший листок, опустился к ногам Тани Савичевой.

Девочка вздрогнула. Но увидев журавлика, успокоилась, не удивилась.

– Журавлик? Как ты сюда попал, журавлик?

– Я услышал, что тебе приходится трудно, вот и прилетел.

– Тебя могли сбить. Слышишь, как гремят зенитки. А у тебя бумажные крылья. И одно крыло уже подбито, опущено.

– Меня нельзя уничтожить: пока живы дети, всегда будут бумажные журавлики.

– У меня нет для тебя даже крошечки хлеба.

– Бумажным журавликам не нужен хлеб. Хлеб нужен тебе.

– Откуда ты прилетел?

– Из твоего будущего, Таня.

– У меня нет будущего.

– Что же, ты навсегда останешься девочкой.

– Блокадной девочкой.

– Но снаряд может пролететь мимо. И бомба не попадёт в твой дом.

– Не всё ли равно, от чего умирать. Может быть, от голода ещё больше.

– Давай улетим вместе на Большую землю, там есть хлеб, там жизнь...

Но Таня грустно посмотрела на журавлика и покачала головой.

– Я не могу улететь без мамы, – сказала она.

Голос Тани как бы отделился от неё, стал чужим – хриплым, простуженным.

«Мама умерла 13 мая в 7 часов утра 1942 года... Савичевы умерли... Умерли все... Осталась одна Таня...»

Её голос оборвался. Но под сводами ледяной комнаты, как эхо, зазвучали другие голоса, такие же приглушенные, охрипшие:

– Осталась одна Валя... Остался один Вадим... Осталась одна Катя... Женя... Кира...

Тане откликались дети такой же судьбы, и их имена разносились по свету. А потом они захлебнулись, умолкли. И в давящей тишине, как неторопливые удары метронома, застучало сердце города, который через силу жил: тук... тук... тук...

И вдруг с болью и отчаянием Таня позвала:

– Мама...

Она не могла крикнуть – не было сил – она прошептала: «Мама».

Но Мама услышала. В тишине раздались тихие шаги. Скрипнула дверь. Я поднял глаза – и вздрогнул: в дверном проеме стояла моя Мама. Моя! Я не мог ошибиться! Только она почему-то стала ниже ростом, совсем маленькая. А может быть, это я так вымахал за годы разлуки? Нас окружал ледяной холод, но Мама почему-то была в лёгком платье с цветочками, в таком я видел её в последний раз...

Она вошла в комнату, даже не взглянув в мою сторону.

Я же неотрывно смотрел на Маму, хотелось броситься навстречу, прижаться к ней, спрятать голову на её груди, как в детстве. Но я не мог шевельнуться, не мог произнести ни слова. На какое-то мгновение я скосил глаза на Таню. Она тоже была в оцепенении, только глаза её расширились, посветлели. Я почувствовал, что она приняла мою Маму за свою. Но Мама так же молча прошла мимо Тани, и я услышал Мамин голос:

Я по Ленинграду не бреду,

Не бреду устало.

Я свою блокаду

Для себя прорвала.

Не смотрю я в небо:

Не летят ли гады?

Не ищу я хлеба:

Горек хлеб блокады.

Я молчал. Таня силилась что-то сказать и не решалась. Видимо, в голове у неё всё перепуталось. И она одними губами произнесла:

– А куропатка съедает в день всего 22 грамма.

Наверное, эта фраза, как шифр, скрывала что-то важное, о чём необходимо было сообщить Маме.

Я же так и не проронил ни слова: был поражён, что мы с Таней одну и ту же женщину приняли за свою Маму. Кто из нас ошибался? А может быть, в этой странной мистерии, которая разыгрывается в моём Театре, одна Мама для всех?

Пьеро сжимал в руках тоненькую школьную тетрадку. Арлекин уронил голову на грудь. Маска со смеющимся ртом выглядела нелепо – смеялась, когда надо было плакать. Но в эту минуту маски моих помощников снова стали маленькими щитами, которые надёжно закрывали их лица. Лицо-то можно закрыть личиной, а как защитить сердце?

– Почему ты не предупредил нас? – глухо спросил Пьеро. – Мы думали, что это простая тетрадь.

– Давай уйдем отсюда! – предложил Арлекин. – Ведь это Театр...

– Отсюда не уйдёшь, – вздохнул Пьеро. – Этот Театр в каждом из нас. А разве можно уйти от самого себя?

Эти слова он произнёс с горечью.

И глядя вслед уходящей Маме, сказал:

– Уйти из Театра – значит изменить самому себе и ... своей Маме.

Может быть, он тоже принял её за свою Маму.

Нет, они не ушли, эти два моих помощника, и не сорвали с лица маски. Одна маска хмурилась, другая смеялась. Но я чувствовал, что под масками по лицам текут слёзы. Те самые, невидимые миру. Миру-то они не видны, но они твои... слёзы:

– А куропатка съедает в день всего 22 грамма.

Публикуется по: Яковлев, Ю. Страсти по четырём девочкам
(<http://www.litmir.net/br/?b=72596>)